

Мария Головановская

ЛИМОННАЯ ДОЛЯ

1

К примеру, Сеницын засобирался с утра, засуетился, выбрился до гладкости необыкновенной, правда, признается, просчитался разок, когда под коричневые кожаные сандалии - лето, жара невероятная, - надел носки на синтетической основе - ноги-то потеют, так вот, Сеницын этот пресловутый, выбежал, обхватив обеими руками потрепанный, издерганный портфелишко, и втиснулся потом в троллейбус, изнемогающий вместе со всеми своими потрохами от полноты, духоты, порывающийся, чтобы успеть непременно к назначенному часу, а, именно, ровно к девяти.

Отдел-то замечательный, самая что ни на есть творческая лаборатория, только на такой гигантской кондитерской фабрике с традициями и уважениями к каждой мельчайшей частичке кондитерского процесса мог быть задуман и приведен в исполнение такой несусветный отдел - отдел, придумывающий имена кондитерским инновациям, разрабатываемым этажом ниже. К девяти ноль семи, как водится, собрались все, и Аллочка, и Петровичи, и в ноль двенадцать уже дружно курили под лестницей у цеха Синтеза, наперебой обсуждая заядлое "вчера". Но Сеницын, конечно же, не пошел. Еще раз. Но Сеницын, конечно же, разумеется же, сами понимаете же, не пошел, и, конечно же, разумеется же, не курил, но главное не в этом, он может быть даже и закурил бы, если бы от этого хоть чего зависело, - так нет! он до десяти ждал звонка, именно до десяти, потом он тоже ждал, но уже меньше, а вот до десяти вероятность звонка из отдела инноваций была самая высокая. Он тряс уже вспотевшей ногой и ждал, если сейчас раздастся звонок, он ринется первый, он завладеет инновацией и, конечно же, придумает, обязательно же придумает, а потом отдаст Аллочкам и Петровичам "доводить" и "докатывать" найденное им сокровище, сочинять обоснование, социологический опрос, определять место данного наименования в цепи...

Он ждал. Он вспоминал, как было. Как он мучился со столь замечательной и любимой им "Лесной бэлью". Звонок без двенадцати десять, приглушенный стук его уже изрядно поизносившихся серых полусапожек по бетонной лестнице - зимний суровый пронзительно яркий день, он что-то предчувствовал, еще когда только открыл глаза и обнаглевший его котюра вскочил ему на грудь, требуя рыбы, ласки и известных манипуляций с ванночкой из фототоваров, служившей ему как и положено, затем прозябание на остановке, окутанной горячим паром и сигаретным дымом, троллейбус с расцарапанным инеем на стеклах, он что-то предчувствовал, это точно, не вздрогнул от звонка без двенадцати десять, и, когда увидел на коричневом бисквите

толстый слой лазоревых взбитых сливок с яркими оранжевыми розочками, ощутил настоящий вселенский покой и сосредоточенность, которые обыкновенно предшествуют разрешению великой задачи. Что такое "Победа сил" по сравнению с открытием, которое вот-вот ему предстоит совершить? Поделка простака. Кустарщина. Топорная работа. Когда он увидел вафельные листы, посыпанные крупными кристалликами жженого сахара, и гигантскую шоколадную вазу, поставленную ровнохонько посередине - он заметался. Он заходил взад-вперед. Он измучил пуговицы на пиджаке. Он чувствовал, что сейчас выдаст, что уже родилось, зашевелилось в груди, поднялось к горлу, зашекетало основание языка. Но где-то совсем уже в глубине, в той самой глубине, где живет истина, но не личность, он знал, что это будет выкидыш, пусть хорошенький, пусть миленький, пусть даже напичканный задатками гениальности, но все равно существо недоношенное, недоразвитое и, если совсем уж честно, мертворожденное. Через двадцать минут "Победа сил" увидела свет, фабрика рукоплескала, отдел инноваций был вдохновлен на новые инновации, Алочки и Петровичи, беспрерывно прикуривая, "довели" и "обкатали" в считанные часы, все было на грани взлета, да и грани-то никакой не нужно, просто взлет, взлет, но он, Синицын, твердо про себя знал, что это падение, то самое настоящее глубокое падение, которое в полной мере может оценить только сам падающий, и поэтому, когда он увидел шоколадный бисквит, сантиметров десять лазоревых сливок и розы, он обмер, внезапно ощутив полный покой и уверенность, что наступает его, Синицынский, звездный час.

Бог мой, что же это такое - бисквит, сливки, крем? Коричневое, голубое, оранжевое? Сухое, воздушное, плотное? Жирное, еще более жирное, и жирное до предела? Он вспоминал. Он думал. Он старался чувствовать до конца. Земля, но не плотная, не заскорузлая, не пряничная, не истоптанная, а рыхлая, свежая, теплая земля. Нет, не клумба, надышавшаяся гарью и пылью, не поле, политое потом и осыпанное бранью, а та самая чистейшая первородная земля, на которую опрокинулось небо, и от этого появились на ней цветы. Не сделанное человеческими руками, а появившееся еще задолго до самого человека, не горы, не озера, не равнины, он тогда почему-то сразу отверг равнины, почувствовал их искусственность, не было тогда никаких равнин - он был уверен в этом на все сто той самой уверенностью, которая происходит не от знаний и убеждений, а от первоначального чувства - лес, лес, лесная - здесь он впервые заволновался, занервничал, ему нужно было удержаться теперь на взятой высоте, вцепиться в нее когтями и зубами, не выпустить, не упустить, чтобы не разбиться вдребезги, не рассыпаться на атомы, - лесная, лесная, лесная - что? Что лесная? Господи... Пот. Сердцебиение. Жар. Хотя и метель за окном, хотя и красное воспаленное солнце словно потускнело, как будто все покрылось царапинами - мелкими-мелкими, от этих обнаглевших частичек льда,

кувыркающихся в обезумевших воздушных струях и разящих как десница Божия... И вдруг, как будто разорвалось что-то внутри и потекло, и вытекло, и Сеницын спокойно встал и сказал, просто, тихо, обреченно: "Лесная быль", - сказал он, и все разохались... "А чего там было-то?" - недоумевали одни, а потом перемигиваясь добавляли: "Известно чего, ну ты совсем уж того, Сеницын!", "Ну и как это есть? Есть-то как?" - спрашивали производственники и пожимали плечами. "И какое прикажешь обоснование придумывать под твое озарение?" - беспокоились Аллочка и Петровичи, - "Какое, а? Ишь, откровеннице..." Но он, Сеницын, проходил мимо этих вопросов, словно не замечая их, и на общем собрании, утверждавшем, что никакой такой "Были" не было, он тоже словно находился в забытьи, он знал, что свершилось, и пусть даже никто не узнает, и никто не вкусит его открытия, все равно, теперь уже все равно... Что такое по сравнению с "Лесной былью" пранолиновая "Вечерняя выпь" или шоколадно-ореховый "Последний гудок", или слоеный "Вымпел полуночи"? Ничто. Ничтожества. И пусть только он один знает и понимает, что довелось, что вывелось из всего пережитого, может быть даже и не только им, Сеницыным, пускай! - отныне неуязвим, пусть даже унижен и понижен, из старшего сделан младшим - зато помолодел, хоть и на бумаге, но все равно, и хорошо, что не поняли, теперь уж по-настоящему один, как царь, как хозяин всего на свете.

Он ждал теперь только звонка, но уже отнюдь не своего часа, он доказал себе, что за кремом и бисквитом способен увидеть единственную допустимую суть, он ждал, чтобы просто спокойно трудиться, но не доказывать уже никому ничего, пускай теперь другие торопятся, но не он, и не его дни, и не дни вообще, пригубившие однажды эликсира вневременности и не совершающие более никакой работы, спокойное течение для того, чтобы быть забытым и уйти и в забытие, оставаясь навечно, перетаскивая через картонные порожки или потопляя в своих водах события и ожидания - теперь уже все равно, когда главное свершилось и остается только сметать со стола крошки.

2

Люди чудовищны. Люди ужасающи. Они запросто вторгаются в твой день, в самый обычный, отнюдь не в сеницынский звездный день, и раздалбливают его вдребезги, не оставляя тебе ни малейшего шанса вернуться. Они появляются на пороге, втаскивая следом всю свою неумность, огромнейшую, замазывая час за часом полишинелевыми ухищрениями. "Погода, мол, то да сё", а на самом деле, - "А не слишком ли ты богат теперь, опальный Сеницын?" - вот, что их волнует на самом деле. И не обжирается ли теперь твоя кошка заморскими ветчинами? Ведь все отныне, видать, только тем и озабочены, чтобы тебе, недопевшему гению, гостинец поднести? Так, Сеницын? Но это интерес глубинный, мол, на что тратишь дивиденды от "Лесной

были", может стал нумизматом, так ты скажи, мы тебе, а сами про погоду, да про природу, или что еще того краше, про здоровье - как интересно с печенью у прозревшего, у узревшего в бисквите и взбитых сливах намек на мировую гармонию? Как у тебя с печенкой, Синя, а? не барахлит? или может просто у тебя несчастье какое, так ты уж будь добр, откройся нам, а мы и порадуетесь за судьбу, которая справедлива и обязательно покарает гордеца, вот когда только, ждем не дождемся. Они приходят народную тропую, чтобы порадоваться за себя, на тебя наглядевшись, порадоваться и порадеть. Не возносись, Синюша, и из отдела не уходи, не боги, как говорится, горшки но и ты не пренебрегай, твое "Постылое утро", если взглядеться, ничем не хуже "Лесной были", оно даже и позрелее будет, если уж до конца откровенности ход дать, и кошку свою не балуй, а то обожрется ветчинами и сдохнет. Работай над собой, и ничего, обойдется все. А потом оглядываешься назад и видишь - часа четыре милолицего утра словно скошенные лежат автоматной очередью. И накурено, и посуды много грязной, и в душе словно вывих какой-то, а часы - увядшие скошенные травы, прелые и пряные, но загубленные, так ли следовало провести утро, истинно свободное утро человеку свободному и отягощенному всей своей полнотой, так? Нет не так. А как, как следовало? Примерно, приблизительно, с допусками и пропусками, думаю нижеследующим образом:

3

И впрямь, какое бы ни заколготилось утро, туманное ли, ясное ли без малейшей ветриночки, со степенными небесами, а отнюдь не пространными, как ещё ну буквально позавчера было, или же тяжелое, темное, будто даже не отряхнувшееся от ночной дремоты,- иногда как девица ясноокая, иногда как девица толстозадая, иногда как юноша белокожий, иногда как старец, напускающий последнее своё издыхание на весь белый свет, так вот, провести это утро можно независимо от его, утра, фазы припрекрасенько, если, конечно, господин Синицын в отгулах за переутомление и готов отряхнуть с себя как с белых яблонь всю суету закипающих подобно сливочной помаде мыслей, которым суждено, увы, остановиться и застыть, обретя наконец форму или пускай даже формочку. Если нет - не увидеть за мыслями утра, на какой бы фазе оно ни находилось и какого бы содержания на себе ни несло. Но если мысли всё-таки отряхнуть, то можно с утра опять же независимо, к примеру, холодных щец и прямо из кастрюли, вот спишь ещё совсем, и голова лохматая, и в глазах прошлогодний снег, только пятки опустил на пол, большим пальцем кошку почесал и сразу к заветной алюминиевой, точнее за заветной алюминиевой кастрюлькой, и тут же на постели её того, а потом рядом с постелью поставить и опять на боковую. И с котярой, разумеется физически из одной ложки. Но этот вариант, во-первых, только для утра третьей фазы подходит, то

есть, для утра, перекочёвывающего в день, и здесь мы, признаться, сильно забежали вперёд, а, во-вторых, вообще всё это со щами притча во языцех, то есть неправда, поэтому забыть следует про все эти грёзы, столь дорогие синицынскому сердцу синицынские грёзы, и опять вернуться назад к утру, к первой его фазе, а затем и ко второй перейти, и третьей. Но никак здесь не выкрутиться, никак не ускользнуть всё-таки от определяющего фактора утра, а именно от ночи, как она проведена, во сне ли или в мытарствах по простыне, а если во сне, то какие это были сны, а если мытарства, то чем они, с позволения сказать, были наполнены. А это уж напрямую зависит от того, что именно перед сном Синицын съел, если пельмени со сметаной - то один коленкор, если свиную отбивную с золотистым жирком по краям - то другой, а если стакан кефира выпил - то третий. А это в свою очередь тоже зависит от того, с чем вернулся Синицын с кондитерской фабрики, в переносном смысле разумеется, вот когда он " Колобка-Зондерлинга" воссоздал, так он навернул перед сном мантов с ладонь Петра Великого каждая и уснул как младенец, а вот после " Прострации за углом" вяло только глотнул полуостывшего чайку на позавчерашней заварке и всю ночь был как уж скользкий и холодный, невзирая на то, что на сковороде. В общем нету здесь прямой зависимости, но вот вопрос кое-какой имеется:" А кто, с позволения сказать, Синичке нашей все эти яства готовит, и почему он тогда самостоятельно котика своего ненаглядного потчует ?" Разные могут быть здесь ответы, многие и разные, а потому лучше уж вернуться к утру, к неизбежным его трем категориям, или, точнее, фазам, если брать за отсчёт чисто временную шкалу деления, которая, конечно же, нипочём, да и время само - черт его!, а фазу первую раннего утра, как там ни крути, выкуси, если душою вышел и проснуться сумел.

О том, что Синицыну обязательно предстоит познакомиться с наипервейшей утренней фазой - хочет он этого или не хочет, он, тогда ещё Синичкин, а отнюдь не Синицын, потому что работал на конфетах, а отнюдь не с крупнокалиберными кондитерскими изделиями,- предупредила его лет эдак двадцать тому пресловутая Перстенькова. Чувствовала она и корой своей, и прямо-таки подкоркой в Синицыне зарождающуюся гениальность, но также и осознавала, что пройти с Синицыным весь терновый путь к звёздам не сможет, кропотливое это дело - высиживать гения, да и долгое - не в пример, пускай уж лучше тернии будут порассыпчатее и звёзды - подряблей, зато в таком терновнике можно какой-никакой фиалочкой разжириться, а потом глядишь и розочкой, если не бриллиантовой, то уж во всяком случае не из крема. Говаривала она, исходя из этого, Синицыну, предупреждала по-дружески - что уже само по себе признак чувства угасающего и коптящего даже." Надо бы тебе, дружок, от

карамели на шоколад перебираться, шоколад - он послаще, да, пожалуй, и позабористей будет. Иначе одному тебе - бобырем, узнаешь тогда"...

Тогда Синицын ничего не узнал, прижимаясь к жарким перстеньковым бочкам, не разглядел он в её ланолиновом шепоте пророчества, он отпаривался этим огненным блаженством от угрюмости начальства, приторного братства незрелого молодняка, к которому принадлежал, - кто-то тогда придумал для незамысловатых пурпуровых ирисок "Раз и два", а остальные искренне восхищались этим открытием, и никто даже не позавидовал, только радовались, а на другой день кто-то другой придумал для похожих ирисок, квадратных правда, "четыре на шесть", и тоже всеобщий восторг, и не было тут по сути никакого плагиата, как и не было его в "Двенадцати сутках" - таких же квадратных только с выгравированным портретом поэта Александра Блока. Отдыхал от этого Синицын на перстеньковых персях, отдыхал, поскольку не был в душе никому братом, он был всегда один, как и подобает, и сам понимал, что пора переходить на шоколад, и, купаясь в неге, доходил потихоньку до "Вечернего стога", а когда дошел, пришел в отдел инноваций конфетного поприща и рубанул с плеча: "Я уже создал имя конфетам, которых вы ещё не придумали. Шоколадным несусветным конфетам". Через две недели были готовы не только конфеты, но и ослепляющая сознание фольга, и прорицающая душу коробка.

Нет, это были не соевые, в развес, без обертки конфетины, вроде "Буратино на мосту" или "Заправского рукомошника". Это не были даже шоколадные в обертке типа "Страсти и снасти" или какие-нибудь "Будешь меня?", это были не конфетины, не конфеты, а конфеточки, маленькие, круглые с орешечком, а на орешечке - шишечка, а в шишечке - булавочка, и лежали они на глазированном серебряном подносике, и все в фольге, и на вершине - огромный шелковый бант. Взлетел тогда Синицын на этом банте, перевели его на шоколад и прочно поставили на ноги, но Перстенькова всё равно ушла от него, невзирая на его занимающийся успех, ушла для него в прошлое, оставив без оглядки в настоящем, одного, ошарашенного, изнемогающего, и он узнал "тогда", не понимая "за что" и "почему", бесконечно вспоминая распрекрасные ягодицы, узнал, что такое первая утренняя фаза во всем её многолепии и многообразии, поскольку тоска по любимой, ушедшей, оставившей, бросившей, напоившей слезами и расточившей все надежды - не фунт, а аршин, и длится она немеряно, когда зимой после бессонной ночи на часах - утро, а за окном всё ещё ночь, и пар из люка аж синий весь и как будто мерещится, и скрип бесконечный невесть откуда, а в голове кошмары и вопросы, перегоревшая месть, в душе горечь от печени и на щеках высохшие слезы. Зябликом беспёрым топорщишься под одеялом и наполняешься весь вместе с комнатухой своей серым, липким, простуженным веществом, вытекающим, выползающим из окна, по полу растекающимся, а

фонари ещё жарят потрескивающий, неподдающийся стальной воздух, и голосом, уходящим куда-то внутрь, всё спрашиваешь эту синь и холод, и немоту: " Где ты, а? Ну где ты, скажи!", а потом уже долгожданные семь, и нету сил подняться, нету сил сбросить с себя могильную плиту одеяла, восстать заживо...

Но постепенно время договаривается с часами, постепенно стрелки протягивают, как спицы, рахитичные лучики и пропадают скрипы, а вместо скрипов проявляется потихоньку щебетание и ранние, хоть и хриповатые, но всё-равно посвежевшие голоса, и занимается за окном зелень и желтизна, а ещё спустя вкатывается в комнату пускай чуток ещё сыроватый, но всё же утренний калач, а затем и подрумянившийся уже облепленный жужжанием и мелкотравчатой перебранкой, и в конце, но ещё не концов разрывается в комнате крупнокалиберный яростный день, ослепляющий и оглушающий, хотя на часах - всего-то кот заплакал, и полыхает так до тех пор, пока не настанет черед пахнущих разогретой листвой дождей, которыми разрешается матушка ночь, полногрудая, переспелая, и в настоящем уже конце - только шум листвы и сливочный нерезкий свет - это перед тем, как вовсе забыть об этом пресловутом ненавидимом раннем утре, забыть его вместе с изломавшей душу дурёхой - конечно же, рано или поздно поймёт она, что была дуреха, ведь так? - и отправить её, послать туда же, в прошлое, чтобы, если когда о нем и вспоминать изредка, но только иногда неуютными вечерами - а по совести если, так у кого не бывает их - на минуту или две задуматься, вспомнить, да и махнуть рукой: мало ли чего, у кого, когда и вообще...

5

И пока угнетались мы нашими добродетелями, упивались ими и объедались, причем все поголовно, он настраивал свою чувствительность как скрипку, натачивал как лезвие, чтобы мочь извлекать ею из недр пенистую суть и баловаться ею, облекать в одежды и разоблачать, пока не рождалось для неё имя, неотделимое от неуловимого естества её, легкое или тяжелое, звонкое или приглушенное, вот тогда-то и настала пора истинного созревания и буреломства, отгулов не с похмелья, а за идею, всё натянуто внутри как струна, и изволь не ослабить её натяжения никакой необдуманной выходкой. Разве можно утро такого дня растолкать в автобусе, растряссти и швырнуть на расправу Аллочкам и табачному публичному дыму? Ни-ни-ни. Встать, ну ладно, ну хорошо, пускай даже не в восемь, хотя лучше бы, конечно, именно в восемь, но это уж, как говориться - растворяй ворота, пускай в девять, только ни минуточкой позже, чуточку взмахнуть руками для ненавязчивого тонуса, но только ни в коем случае невозможно нарушать естественного ритма, чтобы мышление не перекинулось в мышцы, затем умыться водичкой тепленькой, чтобы не раздражать и не расслаблять, затем три глотка несладкого кофе, почему-то

обозванного грубо, по-солдатски какой-то "Арабкой", но тоже и не дать себя заманить раздражающим мелочам, чтобы ни капелюшечки драгоценной энергии не расплескать и начать свой день - что идеальность, подсказанная прямо-таки общечеловеческой историей, - скажем так с письма далекому другу. Дату поставить в правом верхнем углу, время с точностью до секунд и со степенной холерностью описать жизнь свою ненарочную, вроде как со стороны, мол, так и так, вдали от шума городского, оберегая душевный покой, чтоб его полная чаша, и никаких заезжих страстишек, веду жизнь по своему пути, сполна преисполненную великой целью.

По завершении письма скушать яблочко, аккуратно запечатать конверт и решить, что опущенным ему быть часа через четыре, а то и через пять, во время приободрительной прогулки после послеобеденного сна для поднятия жизненной активности до необходимой отметки - не насильственно, нет, не зарубая себе на носу эту самую отметину, обычная прогулка, полуторочасовая, чтобы подышать воздухом и опустить письмо далекому другу, предвкушая вечерний визит друга близкого, не читать навязчиво-умных книг, ни в коем разе не допускать суечения чужеродного в голове своей - вызревать в полнейшем покое и взвешенности, умеренности и продуманности каждого шажочка с неременной фиксацией его в дневнике, дневник, разумеется, не с утра, а прямо перед обедом, минут эдак за сорок, высыпать туда остатки пороха, чтобы не пропал, а не в отгулы - конечно же, не расточать себя, в конфетном, а сбергать для непаханной целины свободы отгульной, заполнять которую только размышлениями и уединениями, поскольку наиглавнейшее: гений вызревает в тиши. Вот она, вырванная из уз неизбежности вторая утренняя фаза, подсмотренная в сокровищных дневниковых записях:

" Вторник, шестнадцатое. С десяти до половины второго. После открытки смотрел в окно и ел яблоко. Придумал для шоколадных с мармеладовой начинкой " Дай мне маху", затем "мне" вычеркнул, затем отринул всё как слишком лозунговое. Уклонялся от женщин мыслимых и немыслимых (мысленно). К двенадцати небо начало обещать и обещивать душу. Придумалась " Сладкая распря", девольвировав ринувшееся извне. Но сразу выдавать её нельзя. Дождаться, пока намучаются, и под конец небрежно так бросить через плечо. Выдерживать внутри плод. Слушал, как тикали часы - часто тикали и наводили на мысль о заклянии " завтра", обреченного на суету и безраздельность".

И грянуло-таки. Всё как и положено, грянуло. Сначала постепенно, тихая элитарная славочка, мол, коробочку бы надписал к именинам, конфеты-то съедят, а картон оставят. Ларочке начертано незабываемо на коробке " Брасом на тот берег": " Желаю вам брасом на тот берег. С.", а она возьми да и зардейся, прильнула вся, но как потом не наглаживала, а переметнулся он на Миледичку, а его почему-то стали звать

Синин и вообще бесконечно звать и потчевать, и пришлось ему соответственно опереться и ходить лестью пресыщаться, и кто-то, поди теперь разбери кто, дробно заговорил за спиной в полголоса: " Не сам он придумывает, не сам, вот, " Лишь бы и пускай..." не сам придумал, выдохся он", а Ледичка тогда утешала: "Клеветают они тебе, Синин", он настоял в один из этих разгульных дней, чтобы знаменитый грильяж из " Крепкого орешка" так и переименовали бы в "Кровь с молоком" для пущей бодрости духа, " Ледичка,- отвечал однажды Синин Ледичке, готовой уже, как говорится, в конец и до конца, - я никогда не осознавал, что самое тяжелое - впереди", и она ходила перед ним с обнаженной спиной и поводила плечами как пава - лишь бы отвлечь его от пагубности насущного, выкристаллизовалось в эту угарную пору, что такое эта третья утренняя фаза, когда без разбега влетаешь прямо в неё окаянную, после скомканной ночи, переполненной излишествами, после клеветы, пестроты и всяческого изнеможения - открываешь глаза как будто вены и чувствуешь, что уходит из тебя зловонная жизнь, и Ледичка ушла куда-то, наверное, умница моя, за кефиром, а на часах половина первого, какого такого первого, так его - не знаю, и какое там мартобря за окном - разбери, и жажда хуже запоя, и пустота кругом, везде внутри кругом пустота и мракобесие, с ужасом вспоминал впоследствии Сеницын эту самую третью утреннюю фазу, когда судьбоносная десна отрезала его как аппендикс от пагубного непристойного тяжелейшего недуга, и спустя положенное время посвежевший Сеницын, сидя в опустевшем не в пример отделе, в половине первого, ласково поглядывал на часы и шурился от удовольствия - через полчаса обед, лапшичка с макаронами - какая благодать, мамочки вы мои, именно тогда родилось у Сеницына неподражаемое " Гегельянство и простатит" для крем брюля в ананасовых хлопьях, он счастливо поименовал эту третью утреннюю фазу " ожидание", но только в уме, про себя, и никому не открыл этого слова, разве только посмертно засветится оно и приложится к какому-нибудь благоговейному молочному шоколаду со сливочной начинкой для самых-самых беззубых.

Конечно, Боже ш ты мой, - разумеется мечтал Сеницын и о белых шортах, и о пинг-понге с теннисом, и о кружке холодного пива под оливами в жаркий день на берегу Карибского залива, он чуть поостыл бушевать и сделался, прямо скажем, безынтересней в силу того, что весь опрокинулся в метания сугубо внутренние. Слава его, не окрепшая ещё, приосанилась, и он всё решал про себя, на какой стезе остановиться, решал он теперь, кто он есть, кем и с кем ему быть. И мечтал. " А что, если..." начал мечтать Сеницын, но дальше рассудок его вносил безжалостные коррективы, он перебирал и отбрасывал, перебирал и отбрасывал, нет, не сможет он безвозвратно оторваться и

парить одиноко в вышине, поскольку как ни крути без деляг, дельцов и бездельников, поставляющих грубое сырье для его вдохновения, обойтись он никак не смог бы.

Возможно, разумеется, перейти на надомную работу по эскизам, выбить себе по праву причитающееся право не разбрызгивать себя на жизнь в человеческом улье, состоящем исключительно из недоиспеченных размазанных особей, но Василек - начальник кондитерки - тертый калач, когда Синицын только вдохнул поглубже, чтобы попросить у него эскизов и потихому попробовать, обломал его как Сидорову лозу: "Ничё у тебя, Синюха, не выйдет, не выползет и не вытанцуется, потому что ты есть плоть от плоти наших конфет, а по чертежу если, будет в твоих конфетах столько же вкуса, сколько в карандашном грифеле".

И добавил: Хошь не

хошь, а без материи ты - Герострат". Синицын не стал настаивать и призадумался о написании книги, эдак вот очертясь хомутом кинуться оборотнем и создать капитальный ландшафт страниц эдак на тыщи две, ну который назывался бы "Продукты поименные и безымянные" или же "Имена разностей в разрезе обертки и конфиденциальности", но потом резким движением отложил он это на самый кончик, заостренный может быть даже как игольное ушко своей непроторенной ещё жизни "А сейчас-то что? Сейчас-то? - мучил себя Синицын расспросами,- и жизни хочется, и свободы, и белизны, и парения, и горения, и угару.

"А что бы вот ты, к примеру, Синицын делал, - не унимался Синицын,- если бы дали тебе в руки неограниченную власть и сказали: ты, узревший сахарную суть - можешь. А? Что б ты тогда предпринял, ведомо тебе?" Задумывался Синицын над своими вопросами до пота и изнеможения, и какие бы заковыкистые ответы ни находил, вопросы все не унимались: "Вот призвал бы тебя Падишах и сказал бы тебе: "На, браток, миллион, и еще полмиллиона, и еще три четверти, жить отныне будешь при мне исключительно и моим козинакам-халве дивнозвучные имена присобачивать, идет?" Ну, что бы ты ответил этому падишаху, скажи мне на милость, не таись?" "А я и не Таис, - обрубал про себя Синицын, - и все тут". Думы это были, вот что. И Синицын обрабатывал их как мог, ничего до поры не предпринимая, поскольку все спрашивал про себя и отвечал: "А вот если так повернется моя жизнь, что смогу я каждый день после обеда на шелковую подушку раскаленную голову на часок принести, станет ли этот день вразумительнее, упруге и перестанут ли мои дни походить на склеенный скользкий комок разморозившихся на беду пельменей? И буду ли я богат? Или беден, но знаменит? Или внешне превосходен, но внутренне переет. Или, скажем, облагородит ли меня каждодневный безжалостный труд, и буду ли я любим в этом случае?"

Неотступная, непроходимая стена вопросов выросла перед Синицыным, и нес он на плечах огромную эту стену повсюду с собой, не замечая, как просыпаются сквозь пальцы хрупкие часы и минуты, как

проглатываются недели и месяцы, не разделённые никакими, пускай даже малюсенькими промежутками. Ничего вразумительного не сумел он создать за эту чертову полосу, кроме вздувшегося однажды как забродившее пузо девиза: " Утро возьми себе, день отдай суете, а вечер - Музе". Но по вечерам никого не оказывалось рядом с Синицыным, видимо закралось что-то неправильное в отливающийся лаконический блеск формулировки , ведь суета - она же пустота, а полноте подавай простоту, а простота - не суета, а раз не суета, значит не туда нужно поворачивать день, а иначе, кажущееся следует отринывать и во всякую внешнюю форму опрокидывать глубинное свое понимание её и свободу, и только тогда появится и выкуется горячо, и произошло из этого понимания другое понимание, а именно дня самого по себе, дня с его непреложными тремя глубинными фазами, пускай зарубили в отделе слишком уж откровенное " И снова куй!" для суфле в мармеладе с вафельной крошкой, и правильно, что зарубили, не может художник говорить о себе в чужой лоб слишком уж явственно, иначе не велик он, а вовсе даже мидинетка, что ж, перебалывал Синицын отчаяннейше, как и подобало ему по размаху.

А потом по вечерам завелась у него Вилечка, гонористая и помогшая выкорнуть ему на поверхность, где и есть настоящая глубина, помогла встать и отстояться, пробурить каждую дневную фазу и укрепить её намертво, за что и была вознаграждена, но ненадолго, а Синицын вышел весь побелевший, сумевший забить в хлипкое болотистое существование надежные сваи, опоры, затвердевшие в страданиях, на которые как умел опирался он и проходил невредимым и над разверзающейся пропастью неожиданностей, и над отравными колосьями неизменности, и над бушующими водами необузданных предчувствий. Короче, вот они каковы три целёхонькие дневные фазы, за которыми - всё.

По правде если, то первая дневная фаза, что бы там ни говорили те, кто встают рано, и только из одного этого заключающие о своем вселенском праве, начинается, ни дать ни взять в один час пополудни, символизируя этим своим рубежом и известную преемственность от двенадцати, и коренное противоречие, кроющееся во всем живущем. Можно было бы объективности ради предположить, что это не так, поскольку встающие на рассвете уже прошли к этому моменту добрую половину всего причитающегося, но объективность такая - грошовая и не более, ибо сплошное это топтание и бормотание, пришпоривание и понукание, даже если уже давно к этому ключевому моменту целы и сыты все поголовно, и травиночки, и былиночки, если климат позволяет, спорить нечего, свои на этот счет недосужии мысли имеются, но это уж - извините, а городской сообщник, как ни талдычь, соберется с силами разума

своего и подтвердит: тоже выверено все, первая дневная фаза начинается ровно в час, ни минутой не пораскинуть, и в этой штуковине кроется, как говорится, все, что только может в этой штуковине скрываться.

Рассмотрим, к примеру, Сеницына, но не этого, а какого-нибудь другого, попроще, потусклее, поговорчивее, не стремящегося особо, а попросту разминающего час за часом - и он не опровергнет - в час дня своего рода наступает кульминация в предверии новой кульминации, а одновременно также и развязки, имя которой не по-душевному лаконичное, а именно - обед. Вот он наисложнейший парадокс бытия, с утра растрясешься, пробуждаешь в себе и такое и эдакое противостояние, умываешься, понимаешь ли, одеваешься, торопишься к назначенному, там ждешь до десяти, или как у кого - по-разному бывает, потом только чувствуешь - пошла в тебе правильная реакция на внешнее и внутреннее и вдруг - бац! - просыпается в тебе червячок этот самый окаянный и распевать начинает тихо сначала, а потом все громче и громче, по-русалочьи, прямо, поет стало быть он во все червячье горло: "Замори меня, милок, дай хотя бы шерсти клок", прямо шелкопряд какой-то, извращенец, честное слово, ведь как это водится, его заморишь, да и себя вместе с ним, но вот к чему, спрашивается, тужиться надо было и жизнь в себе раскочегаривать как костер на ветру, если в половине второго или на крайняк к двум загашать ее в себе почти полностью приходится струей борща со сметаной, да котлетцами с голубцами и прочей неподдельной вкуснятиной. Вот он первый порожек, когда в час многие уже осознавшие неизбежность половины второго или на крайняк двух часов решают положить на себя обед и расстаться с достижениями, достигнутыми доселе, достойными или достаточными, - это уж кому как. Многие Сеницыны не сумели перевалить за этот первый порожек, так вот и застряли не разбуженные с одной стороны, и все остальное с другой, так и задохлись они на ветвях своих, не породив не то что "Малиновой тоски" и "Румянца от накала", но и простого вразумительного "Чирика". Но наш Сеницын отследил, конечно же, и Вилечке своей настрого приказал отследить и выводок сделать, и несколько раз картинно погибнув, руки забросав за голову, как рассыпавшуюся соль, а также несколько раз погибнув наповал от блинчиков с тефтелями, а также множество раз издохнув на добрую и злую свои половины, распорядился по всем отсекам и отделениям: первую дневную фазу, начинающуюся в один час и заканчивающуюся к трем, проводить бдительно, не давать шанса, пальца, слабины, а наоборот Вилечке запретить намазывать, объяснить и приказать: "намазывание всяческое и разнообразное есть воплощение грядущей прострации и душевного бутулизма! Не смей и нишкни!", в кондитерке спускаться в исподнюю самым последним и, созерцая объедки на тарелках, вспоминать, что так и человек, и к трем выходить единственным уцелевшим палачом

собственного изможденного недоеданием червяка и жить присно и пресно всю вторую, а также и третью дневную фазу уцелевшим, двигаясь и продвигаясь.

Для остальных - наглядная смерть. Особенно, если пурга за окном и небо затянуто как окно спальни тяжелыми занавесками. Кури, не кури - дремли до зари, пускай она даже вечерняя, под газеткой или еще как, а он, Синицын, это заветное-разветное время, когда все ослаблены и умерщвлены, посвящал проявлению скрытого, он спускался в лабораторию и, будто баюкая, разбалтывал наподобие желтков в миксере издыхающих инноваторов, выяснял, что у них на столе, да что на уме, да какие плагиаты поднакоплены, вторая дневная фаза - самая важная для будущего глашатая времени, когда остальные - словно размякший пластилин в твоих неумолимых пальцах, и только-только в них забрезжится, замерещится силенка с комаренка, они - хватъ, а ты - цап, и уже давно сидишь в гнезде своем этажом выше с фонариками и календариками, с бегониями и регалиями, у них то - еще бабушка надвое сказала, что сильнее шевелится, мозги или кишки, а ты уже изготавливаешься к прыжку и полету мысли, воистину горнолыжному, если наостриться, как подобает - и в яблочко, или еще куда, это уж от чистейшего вкуса застрельщика зависит.

Но не менее важно также и третье. Третья финальная завершающая фаза дня, стирающаяся, не побоимся этого слова, до самих семи часов, пускай перебор, нам он слаще сладостей, поскольку неописуемо важно выдавить из себя все до остатка, очиститься полностью, чтобы не давать потом вечером холостых дымных оборотов. Чтобы каждому по серьгам его. Чтобы никто в вечернее также трехфазовое время, никтошеньки обойден не был. И зуда тоже чтобы не было. Выдавить из себя все до остатка, но не на бумагу, поскольку это по-всякому обернуться может, ведь ее как топором ни бей, все она белолицая стерпит и передаст потом, поэтому выдавить опять же внутрь себя, в отдельно располагающийся склад. Выплеснуть туда все, закрыть двери, погладить мысленной рукой замки и спокойно зашагать домой, дождь ли, снег ли, листва ли или птичье гоготание, шагать себе и шагать, перемешивая шаги и слова, слова и мысли, названия и предчувствия.

И когда именно так готовят предчувствия - не обманывают они - ни-ни-ни, однажды подразведал в торговом, и дважды, и трижды, ошарашил как словно горохом: "Семь раз отметить" - для модификации "Наполеона", "Не стоит мылом" для коврижки в абрикосовых листьях и "От топота копыт" для некогда "Птичьего укуса". Взметнулся тогда Синицын как всполох и стал самым молодым торговиком, такие вот пироги, коврижки и кренделя.

шоколадно-сиреневый, каприза, прихоти небесной жду от тебя, не устремляй свой взор за косогор, не ругай меня, не кляни, не говори, не повторяй: "Нету в тебе безуминки, кто же вынесет как не я страшнейшие эти сумерки, вечер кромешный и смыкание единственного солнечного ока, словно циклопьего племени огромной птицы, безвекой, пленкой белесой затягивающей глазное яблоко - и хоп! - чернь за окном, кто это? кто это вынесет как не я, идущий за тобой, Вилечка, следом, полем, тропиною через сумрак этот и смрад? Как же можно смотреть, не держа тебя за руку, как закатывается это глазное яблоко в стойло свое, и не рассыпаться в песок, в извинениях за все никчемные и отравные победы и вычисления, руки к тебе тяну. Но лежит на тебе перевернутая календарная страница, отговорила ты по осени и уплыла, а потом уже много позже, вечером поглубже, залетел в форточку котяра с серебрящимися усами и под мурлыканье телевизора и перешептывание газетных полос обуютился и приманил в дом нехитрые ароматы вечерней трапезы, и раздобрилась в конец постель, не дыбится, не колется, греет и баюкает, и лампа чутко похитрому мигает книжным листам, попахивающим правильностью, выверенностью дневного финала, а потом выдать и разное, под названием другое, когда это? Чу! Ишь наострился, ишь намылился, эй, Синицын! а, Синицын? звонок-то слышал, ровно, как и предполагалось, без восемнадцати секунд десять, слышал что ль? видать вот он, и раз тебе говорит, и два, ну а коли слышал, дуралей, так чего же к стулу словно приклеился, швыряй его поскорее вниз, а сам-то беги, беги!